

## *ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА РИСОВАНИЯ*

### *1. Новые времена*

Потомственного сибиряка Никифора Седых знали звероловы и охотники — жители разбросанных по округе неблизких друг к другу сел, укрытых тайгой, снегом и тенью невысоких гор, чернеющих на ярком зимнем солнце.

Знали и геологи Никифора -- лучшего проводника. Читал он тайгу, как книгу.

Горные шорцы при разговоре о нем оттопыривали большие пальцы на сжатых кулаках и что есть силы выбрасывали руки поверх головы, пощелкивая языком.

Ни те, ни другие, ни третьи не могли предугадать, что таяжник Никифор Седых станет родоначальником династии художников и поэтов и крестным отцом известных деятелей индустриализации, начатой в первые пятилетки становления страны.

Родные места Никифора распростерлись сибирскими далями там, где реки Томь и Уса в пору осеннего разноцветья покоряли своей грустной красотой, а в вёсны сияли улыбками солнца на теплеющих снежных просторах. В такие времена здесь поутру снега лежат на кедровых ветвях и светятся розовым теплом, а на склонах распадков от этих ветвей

ложится в предвечерний час голубая тень. Сибирские зимы накрепко захватывают тайгу — долго не дают ей очнуться от молчания и холода, потому властные силы весны так радостно празднуют свою солнечную победу в таежных местах Сибири, пробуждающихся от долгого зимнего сна.

Рука города уже много лет властно тянулась к томбусинской сокровищнице, но пока еще хозяин тайги косолапо протапывал непроходимые заросли, дабы полакомиться свежей малиной. Люди здесь еще не стали ненавистны Топтыгину — он не обладал даром предвидения и не мог знать, что рушатся его владения.

Никифор сызмальства знал скрытые тропки в непроходимой тайге, он мог долгими часами ходить по ней в тяжкую комариновую духоту и в мороз, когда кедры трещат, будто валятся; мог свалить и напавшего на него хозяина, если бы повстречался с ним и невзначай разозлил, хотя зверя этого уважал и готов был уберечь от злой напасти; мог он выжить в тайге подолгу, тайга покорялась ему. Он знал, как уберечь себя от холодной и голодной смерти. Как и где напоить себя водой. Был он живуч и характером крепок.

Теперь на эти места наступали геологи, гремели взрывы, пробуривались шурфы. Здесь было суждено отнять милости у природы из самого ее нутра. Вот вскоре заработают угольные шахты, и в тех местах, где веселые горные ручейки с игривым говорком сливаются с голубоватой водой Томи и серебристой Усой, будет воздвигнут дымный, припудренный угольной пылью город, окруженный умирающими соснами, ставшими голыми до вершины.

Но в то время на место будущего Новокузнецка еще ходили по глухой тайге изыскатели. Никифор Седых видел, что не спасти, не отстоять эту тайгу и это небо, не спасти заповедные тропки — затопчет их новая жизнь. Куда же ему тогда податься в свои двадцать пять лет?

В это лето он проводил партию геологов, повел их надежными путями и был у них первым советчиком. Знал он чернеющие вдали перевалы гор, повадки птиц и зверей, капризы здешней погоды, умел лечить лесными травами, устраивать крепкие стоянки вблизи ручья, который все рассказывал и рассказывал, не умолкая журча, и звонко ударялся о твердый каменный выступ. Вода его поила, кормила и лечила.

Люся Черных — студентка последнего курса Томского университета проходила практику. Она не отрывала глаз от стройного сероглазого красавца сибиряка — их молчаливого проводника Никифора Седых.

— Ты, Седых, пропадешь. Что тебе осталось делать в тайге? Здесь Кузнецкий бассейн. Уголь будем добывать, тайги уже, считай, нету. Понял ты это, таёжник, или не понял?

— Не понял и понимать мне не надо. Вы как пришли, так и отвалите, а тайга-то останется. Дак вы и уходите первыми.

— Нет, таёжник. Мы уйдем, придут строители и отодвинут тайгу твою подальше.

Спор этот неизвестно сколько бы продолжался, если бы Люся не решила переменить стратегию. Она с удивительной педагогической последовательностью вводила красивого таежного медведя в круг интересов геологов. В его пытливом уме раскрывались понятия красоты и радости их Труда, он начинал ощущать, в чем прелесть найденных ими для людей сокровищ. С каждым днем интерес Никифора Седых к их делам возрастал. Вскоре он уже не понимал своего равнодушия и наблюдал с довольной усмешкой, как геологи — и стар и млад — оглашали тайгу радостными криками, пускались в несуразный пляс, пели и приплясывали, если их кропотливый, нелегкий труд венчала счастливая находка.

Впоследствии, через немало лет, сибирский геолог Никифор Михайлович Седых понял, почему геологи так излюблены романистами и драматургами, поэтами. И часто потом профессор Седых удивлялся своему былому равнодушию, высокомерному презрению, с которым он, молодой таёжник, проводник геологической партии, относился к труду геологов.

Но тогда, в ту весну он мог лишь недоверчиво слушать, что ему говорит Люся Черных.

— Ты начальную школу кончил, армию отслужил, ну и давай теперь в Томск. Поступай на рабфак и потом в университет на геологический. Понял?

— Понял..

Люся от неожиданности замигала глазами — неужели согласился?

— Повтори!

— Понял. Не поступлю, — упрямо сказал он, решительно взмахнув рукой, хотя мечта эта крепко завладела

Геологи закончили свою работу, Никифор распрощался со всеми, Люся заплакала. Никифор удивился — почему плачет. Видимо, я обидел ее. Учиться отказался.

— Не плачь. Я поступлю на рабфак. Приеду в Томск. Поступать на рабфак. — Так решил Никифор Седых утешить девушку.

— Дурак ты, челдон. Ничего ты не понял... ничего!

Слезы полились сильнее, «челдон» действительно не понимал, почему же она плачет? Ведь по ее-то и получится. Буду учиться, а гляди-ко, плачет все пуще и пуще.

Не понял таежник, что Люся, первая из встреченных им городских девушек, полюбила его. Не мог этому поверить, а она ему так и не сказала.

Это была одна из историй любви — любви без признания, без объятий, поцелуев и клятв.

Разъехались и больше друг с другом не встречались. Как искал ее впоследствии Никифор! Все увиденное, услышанное в той партии геологов, что проводил летом Никифор, слова Люси, ее слезы крепко запали в душу, и с каждым днем крепла мечта учиться. Он вернулся к себе в село, стал с упорством сибиряка готовиться к экзаменам на рабфак. Он понял, что решительно все позабыл, даже из того, что в то время давала сельская школа. Но характер и мечта взяли верх. На смену таежным тропам протоптаны были уверенные дорожки в рабфак и затем в университет. Люси в то время уже в Томске не было. Он искал ее, вспоминал ее голос, печальные глаза, копну русых волос, запятанных в тугую косынку. Часто видел во сне ее плачущую и так до конца дней своих не догадался, почему ручьем катились ее слезы.

Прошли годы. Его упорство и труд, страстная жажда знаний победили. Лет уже было немало. Не беда — студенты той поры были все великовозрастны. Возникла новая армия специалистов первых пятилеток — самоотверженных энтузиастов, верных своему долгу и призванию.

И вот студент Никифор Седых — гордость университета снова в тайге, на каникулах, — студент на отдыхе в родном селе.

Зима в этот год выдалась даже для Сибири — крепкая. Вечер застиг Никифора в тайге. Холод густел, и тайга покрывалась черной тенью. Никифор наладил лыжи и направился в обратный путь к дому, в жаркую родительскую избу.

На небольшом перелеске рвануло холодным ветром. Никифор ускорил бег. Лыжи скользили быстро и легко. С разбега Никифор соскользнул вниз по откосу распадка и то ли почудилось, то ли нет — услышал чей-то тихий стон. Похоже, стонала женщина. Никифор притормозил, развернулся, побежал по низу распадка и увидел неподалеку занесенную снежком человеческую фигуру. Точно. Человек! Погибает человек.

Никифор скинул лыжи и приблизился к лежащему телу, осторожно разгреб снег и поднял на руки девушку. Она уже начинала засыпать.

Он знал, что надо делать в таких случаях: протер снегом лицо, шею, руки, ноги. Они еще не распухли. В его рюкзаке было все, что нужно, — и спирт, и настой из теплынь-травы сибирской. Никифор поставил девушку на ноги, вливал ей в рот снадобья. Надо заставить ее сначала походить, потом побежать, не дать расслабиться, не дать! Потом побежать! Сильнее! Еще сильнее — ну же, еще, еще!

Теперь только можно ее взвалить на плечи и — быстрее к дому, что есть силы вперед с драгоценным грузом домой, в тепло, в жар натопленной баньки! Потерпи, милая, потерпи, мы уже дома. Скоро будешь в тепле, еще какая-то одна, две версты. Выходим тебя, выходим.

В ответ последовал лишь слабый стон.

Мать Никифора могла многое от знахарского дела. Велела положить девушку на топчан, принести в избу водицы студеной, баньку растопить, а самому с отцом пойти заночевать у тетки Анфисы. Не мужское дело здесь мешаться — она будет, мол, всю ночь деваху к жизни вертать, всю ее отварами да настоями разными растирать, а другими — поить. Ну, мужики, поспешайте.

Наутро Никифор с отцом вернулись домой.

За столом в жарко натопленной избе сидела мать и рядом с ней — чудо, сразившее Никифора. Синее пламя метнулось на него из глаз спасенной девушки. На ее нежном порозовевшем милом лице сияла улыбка. Девушка встала и подошла к Никифору. Светло-русые волосы падали до самого пояса, и от этого она казалась ростом невысока.

Никифора обдало жаром. Двинуться с места он не мог, только шире раскрыл глаза и увидел смуглое с тонкими чертами лицо, обрамленное светло-русскими волосами, ниспадающими волнами на плечи и спину, увидел изящную,

тонкую, необычную для здешних мест, фигуру девушки, ее улыбку, от которой темно-синие глаза загорались, как костер из голубых веток ели.

— Меня зовут Ванда, по-здешнему Валентина. Я из села Лязгино. Мой отец цыган Степан Лязгин. Все знают кузнеца Степана. Он кует все кузнечное. Но более всего любит красные вещи для оград, коньков на крышах, оковы дверей. Ну, одно загляденье от всего, что делают его руки золотые! Мать моя полька из ссыльных поселенцев. Вот заблудилась я. Вы спасли меня. В селе Лязгино много цыган. Оседлые мы и промышляем по кузнечному делу. В этом селе живут и поляки, но зовут они его Костюшковск. Лязгиных там много, но таких кузнецов, как мой отец, не сыщешь по всей Сибири! — Девушка гордо подняла голову.

Михайло Седых, отец Никифора, сказал, что знает Степана Лязгина, бывало, на медведя молодыми ходили и вроде стали как дружки.

Ванда говорила по цыганской манере громким голосом, но ее интонация напоминала тремоло на старинном клавесине, наверное, сказывалось изящество польского произношения. В девушке явно верх брало польское начало от матери.

Никифор молчал. Разве может что-либо сказать человек, который, казалось бы, навечно прирос к полу?

Вот оно, чудо-то какое — отец цыган, мать — полька. Никифор очнулся и, наконец, обрел дар речи. Сказал, что Лязгино он тоже хорошо знает, знает и ее отца Степана и что... Но тут вмешалась мать, наблюдавшая эту сцену вполне понимающе.

— Ну, значит, познакомились. Ты, Никифор, давай запрягай каурого и что есть в нем силы поскорее в Лязгино. Найди Степана. Скажи — Ванда у нас. Торопись, поди все село уже на ногах, но скажи — отпускать Ванду еще нельзя, будем с неделю, а то и больше лечить и домой отпустим здоровехонькой. Ну что стоишь, истукан! Велено уж тебе, идол этакий. Не лупи глаза, ступай запрягай каурого!

К вечеру Никифор приехал домой, привез отца Ванды. Степан — красивый цыган, слегка сутулый от постоянных поклонов наковальне, расплылся в белозубой цыганской улыбке, крепко обнял друга своего Михаила. Прильнул к Никифору. Здесь слова были не нужны. Разве не таков

закон тайги. Что же тут говорить. Только большие его, слегка навывкате цыганские глаза заблестели черным блеском. Казалось, это была непрошенная слезинка. Обнял дочь, попрощался и приехал через неделю, в следующую пятницу.

— Садись, Степан, — сказал Михайло, — отдохни, дочь твоя с моим Никифором в соседнее село махнули, свадьба там. Женится Никифоров друг. Отказаться от приглашения в наших местах, Степан, — обида. А то и заночуй, Ванда здоровёхонька, поутру и отвезешь ее домой.

Оба взглянули друг другу в глаза, помолчали и, кажется, в этом молчании и взгляде оба прочитали все, как в книге судьбы.

— Да, Михайло, заночевать-то можно. За это спасибо тебе, друг. — Затем, немного помолчав и опустив голову, прошептал: — Недоброе выйдет, Михайло. Недоброе. Цыганский закон суров! От него нет спасения. Просватана она за цыгана Левко!

Михайло молчал, смотрел в окно, раздумывая о сказанном.

Подкрадывались по-сибирски тихие сумерки и с предостерегающей темнотой сгущались. Скоро наступит по-здешнему звонкая холодная ночь.

Послышался скрип саней, они подкатили к крыльцу. Укутанные в синий пар в избу ворвались с веселым смехом Ванда и Никифор. Только успели поздороваться с родителями, как снова раскрылась дверь, и в нее звериным прыжком ворвался молодой цыган Левко.

Он славился на всю округу статностью, силой, красотой и жестокостью. Часто он исчезал из села и появлялся со следами побоев, грязный и оборванный. Он не отвечал на вопросы, где был, что творил. Молчал и часто пил с утра до вечера. В это время он был порою пуглив, и его конь постоянно был наготове.

Ванда по цыганскому закону была просватана за него сызмальства, отступить от него означало смерть.

Лицо Левко пылало. Он тяжело дышал. Черный, зловецкий огонь пылал в его огромных глазах, наполненных гневом и ненавистью. Он присел, как бы готовясь к прыжку разъяренного зверя. Холодным огоньком сверкнул в его руке длинный тонкий цыганский нож. Левко стремительным броском метнул его, и стальная молния вонзилась в

противоположную стенку, зазвенев на волосок от головы Никифора. В одно мгновение в руке Левко оказался второй такой же нож, похожий на первый как две капли воды. И вторая молния вонзилась в стенку, на этот раз на волосок от головы Ванды.

Ванда отшатнулась, вскрикнула. С ненавистью бросилась к Левко с протянутыми вперед руками, готовая его задушить. Левко отбросил ее на пол.

— Встань, Валя. Ты знаешь наш закон. Все Лязгино смеется над цыганом Левко. Я убью Никифора, а тебя уведу с собой, и три дня ты будешь бита плетью. Ну а ты, Никифор, выдергивай из стенки нож и пошли за избу. Будем драться честно. Но знай, ты умрешь — за мной правда. Ты — вор!

— Стой, Левко, — спокойно сказал Никифор, — я согласен драться. Но умрешь ты. Правда — за мной. Вор — ты! Что ты ей уготовил? Какую жизнь? Ты украдешь у нее жизнь.

— А ты? Ты что, озолотишь ее?

— Нет, дурак, я буду ее учить. Она пойдет со мной и будет учиться. Новые теперь времена, Левко. Новые настали времена. Можешь ты это понять своей буйной цыганской головой?

Лицо Левко стало спокойнее. Огонь, бушевавший в его глазах, угасал. Потом он, уже совсем мирный, покорно подошел к Никифору и, тяжело дыша ему в лицо, спросил:

— Что будешь делать, учить? Я не смогу ее ничему научить. Ты сможешь ее учить? А меня ты захочешь учить? Учи и меня. Я знаю новые времена... Учи и меня, тогда это будет в откуп за цыганский закон. Я отдам все. Бери у меня все — коня, все серебро. Золото есть у меня. Много золота. Все отдам тебе. Только учи меня, Никифор, учи. Думал об этом всегда. Давно, давно уже хочу этого. Мучит это меня, не хочу больше цыганской крови. Я буду твой кровный друг. Вытаскивай нож. Так, хорошо. А теперь выгащу я.

В руках у обоих оказались ножи.

— Теперь заголи левую руку, и я заголю, подойди уколи — я тебя уколо. Обменяемся кровью, и поклянись, что будешь учить, хочу много знать. Сталь буду плавить. Машины строить. Ну, давай, Никифор. Я пойду за тобою куда хочешь, только учи меня! Давай обменяемся кровью,



Прошли года. Инженер Ванда Седых со своим мужем профессором Никифором Седых и дочерью Анной возвращались домой в Сибирь из Машиногорска, они гостили в семье выдающегося организатора и инженера Левко Даниловича Сибирина — директора одного из крупнейших машиностроительных заводов страны<sup>1</sup>.

### *II Учительница рисования*

В семье инженеров Никифора и Ванды Седых рождению дочки Анны предшествовали долгие гадания — какое начало возьмет верх: цыганское или польское. А родилась Анна вся в отца, и, повзрослев, ее внешние черты все больше это подтверждали.

Анна росла в городской среде, но в ней часто пробуждалась лесовичка, и она тянулась в тайгу с поразительным бесстрашием. Она могла блуждать по тайге, имея лишь самое слабое представление о том, куда выведут тропы, пробивалась через заросли и чудом возвращалась на исходную поляну, избрав верные к ней пути. Больше всего поражало удивительное сочетание холодка, которым отличался ее внешний облик с горячим темпераментом, который зачастую взрывался фейерверком чувств. У девочки эти взрывы вызывались необыкновенно сильной привязанностью к природе. Природа привлекала всю ее детскую душу, волновала, возбуждала и вдохновляла на протяжении всей жизни. Любовь к природе не ограничивалась только ее любованием. Ее не по-детски пытливому уму только одного любования не хватало. Она пыталась проникнуть в смысл этой красоты. Она полагала, что для этого необходимо начать зарисовывать все то, что так радует душу в природе, и этим познать причину великой тайны, угадать ее. К удивлению родителей и учителей, знакомых, ученица 5 класса Анютка Седых создавала удивительные рисунки. В них угадывалось пространство и привлекала какая-то нераскрытая тайна, которую незримый наблюдатель пытался найти. На вопрос к ней, что это значит, отвечала: «Вторая природа», я ищу, как в нее проникнуть». Туманный ответ не вызывал желания продолжать вопросы. Только один из знакомых семьи — художник местного театра более пристально

<sup>1</sup> Длительное время Краматорским машиностроительным заводом успешно руководил директор-цыган из Сибири (прим. автора).

всмотрелся в рисунки девочки, и туманные ее ответы не останавливали его. Он продолжал с большим профессиональным тактом выспрашивать, пытался понять, в чем заключались ее поиски. Однажды, отправившись с нею к месту зарисовок, он наблюдал ее работу, спрашивал и получал ответы, которые здесь ему казались однозначно понятными. «Вы разве не видите? — с недетской серьезностью объясняла девочка. — Эти листочки движутся, они растут, тянутся к другой жизни, взрослеют. Надо угадать их путь, вон туда — в неведомое».

Изумленный художник впоследствии говорил, что девочка, того не подозревая, постигла раскрытие перспективы Сезанна и настоял готовить Анну в художественное училище.

Так Анна Седых стала художницей. Свою любовь к пейзажу она дополнила страстным стремлением к портрету. Она любила людей и в их портретах старалась угадывать доброту. Художница Седых умела увидеть в человеке, в его натуре талант и показывать его на полотне при помощи какого-то ей доступного одухотворенного образа. Как-то ей предложили написать портрет артиста Великанова. Он у нее не получался. На вопросы о причинах неудачи отвечала коротко: «Он перестал трудиться, на нем нет священной печати труда». — «Откуда вы, Анна Никифоровна, это знаете?» — «Вижу», — отвечала художница.

Однажды ей захотелось увидеть родные места матери. Существует ли еще цыганское село Лязгино?

Мать охотно согласилась, и поездка состоялась.

Лязгино существовало, но это уже был город, промышленный, раздавшийся в стороны. Лишь в далеких окрестностях он сохранил свою прошлую романтическую самобытность. Там и поселились мать с дочерью. Зарисовок было сделано немало, но Анну это не очень радовало. Она вынашивала мечту найти могилу деда Степана Лязгина — знаменитого на всю округу кузнеца, очень рано расставшегося с жизнью. Романтический ореол вокруг его личности продолжал свое сияние. О нем распространялись легенды, но теперь никто и не помнил, где его могила. Поиски оказались безрезультатными.

Однажды у пустыря, на котором стояло несколько развалин, и среди них — одна, прокуренная и задымленная до черноты, Анна встретила молодого человека, стоящего за

мольбертом и сосредоточенно пишущего маслом. Анна подошла к нему, извинилась за то, что помешала, и спросила, что это за натура, над которой работает коллега.

— Здравствуйте, Анна Никифоровна, я вас узнал. — Человек широко улыбнулся, и лицо его стало очень привлекательным.

— Здравствуйте. Откуда же вы меня знаете? — растерянно спросила Анна.

— Узнал. Вас знают уже многие. По вашей выставке.

Анна смутилась, не дала закончить фразу и поспешила с вопросом:

— Вы из здешних мест?

— Нет, прибыл из Новосибирска. Если бы вы задали по-другому вопрос — кто я, то ответил бы не так быстро. Кажется — я поэт. Но иногда сам в это не верю. Тогда я начинаю думать, что лучше бы мне назваться художником. А несколько лет тому назад уверил себя в том, что я в первую очередь — музыкант. Зовут меня Макар Солнцев. Сюда приехал специально зарисовать эти места. Здесь был центр цыганского села Лязгино. А вон там, видите, подальше, почерневшую развалину — это бывшая кузница знаменитого цыгана Степана Лязгина. В ней у горна по его предсмертному желанию его и похоронили. Это был не просто кузнец. Он был кузнецом-художником. У моего отца сохранились его кованые изделия. Это чудесные произведения искусства. Цыгане — теперь их уже нет — много лет разжигали в честь и память о Степане его горн, и горел он, как священный огонь. Цыгане говорили, что видели в густом дыму силуэт Степана.

Анна побледнела, она зашаталась, инстинктивно схватилась за руку Макара.

— Что с вами, что с вами! Присядьте вот на этот мой складной стульчик. — Он быстро развернул его. Анна села и шепотом произнесла: — Степан Лязгин мой дед. Мы с мамой давно ищем его могилу. Простите меня. Я так взволнована. А вас что привлекло к этим местам?

— Я жил в этих местах в детстве. Видел, что сделал труд с этими удивительными людьми. К их романтике присоединилось многое. Труд их преобразил. Отсюда вышли люди на всякие дороги — искусства, литературы. Были инженеры, артисты и даже ученые.

Потом Анна и Макар часто приходили сюда с мольбертами и по вечерам, и поутру. Возжигали горн кузнеца Сте-

пана и вдохновенно записывали на полотно трепетный свет священного огня, то укрытого тайнствами ночи, то поблескивающего на рассвете мнимым существованием Степана, неуловимым, как мысль о душе. Огонь витал, как нетленный дух. Мысли и любовь Анны и Макара сливались воедино. Священный огонь озарял их души.

Макар Солнцев преподавал литературу сначала в школе, затем в педагогическом институте. На его лекциях студенты и желающие послушать стояли в проходах.

Работу свою Макар любил. Это было его призванием, но призванием ограниченным, иначе говоря, только любимой профессией. Душа его была раздираема разными страстями. Он еще юношей писал стихи. Они ему казались незрелыми: этак вначале стихотворения все, как в тихой заводи, а потом в ней вдруг вспенивается шквал, бушуют бури, и ураган уносит мысль, рвет ее, как в старину рвались паруса в большие штормы на легендарных шхунах. Ему казалось, что это его внутренний дефект и его ему не изжить.

Прославленный музыкант побывал на творческом вечере, который был устроен молодому поэту Солнцеву немногочисленной группой почитателей. В зале сидело несколько скучающих слушателей. После одного стихотворения с присутствующими в нем взрывами, шквалами и безумством неистовых ветров музыкант поднялся с места и, не обращая внимания на слушателей, громко и восторженно закричал: «Послушаете, это же Лист, понимаете. Лист!» — Никто не понял, при чем здесь Лист, но Макар задумался. На второй день он без спросу пришел к музыканту и без обиняков обратился к опешившему хозяину:

— Прощу вас, сыграйте мне Листа.

Музыкант играл, Макар читал стихи и сам уверился в том, что это, оказывается, поэзия. Музыкант уверял его в том же, попросил зайти снова, назначил день. С тех пор пошли «музыкально-поэтические» вечера с афишами и платными билетами. Теперь уже в зале было немало людей. Популярность вечеров возрастала. Восприятию Макара помогало то, что в детстве и юности, и в более зрелые годы он основательно учился музыке, любил ее и много слушал.

Но вот появилась новая страсть - живопись. Не просто страсть. Это было убеждение, в которое он твердо верил, верил в синтез искусств — поэзии, музыки и живописи.

Он искал триединую объединяющую формулу этого, как он говорил, могучего синтеза. Он был убежден, что существует закономерность их воссоединения и тогда она должна явить собою огромную силу. Поиски формулы синтеза привели к тому, что Макар Солнцев накопил огромный потенциал всяких знаний и постоянно жил в возвышенных ощущениях, в поиске и мечте. Многих теоретиков его поиски приводили в бешенство — сплошная эклектика, туман и попахивает идеализмом. Вскоре после того, как в его жизнь вошла Анна, все его интересы сосредоточились на ней и интерес к поиску триединой формулы заметно угас. Анна уже шла по пути признанного художника. Она задумала портрет. После многих поисков портрет был выполнен с талантливой необычностью. Он произвел неотразимое впечатление. Легко узнаваемое лицо было написано неуловимыми цветовыми сочетаниями. Легкие, как воздух, мазки придавали портрету невесомость духа. Это было написано художником, который искренне любил того, кого писал и написал, — не человека, а неуловимый облик божества.

Портрет повесили на стене, вдоль которой он по утрам проходил в свой рабочий кабинет, и однажды в сопровождении своих помощников, увидев портрет, остановился, всматриваясь в него долго и внимательно и, может быть, импульсивно слегка развел руками. Помощники стояли на почтительном расстоянии и не поняли, что означает этот жест, но на всякий случай — сняли портрет. На следующий день, проходя мимо той же стены и не обнаружив портрета, он снова развел руками. Жест опять повторился и снова понят не был. После этого случая Анна уже не существовала в первой шеренге художников. Никто не знал: хвалить ее или ругать и на всякий случай решили о ней замолчать.

Анна поступила на работу в школу учительницей рисования и очень увлекалась этим своим новым поприщем, отдавалась работе с неожиданной для нее страстью. Она сумела привить ученикам любовь к прекрасному. Сумела увлеченно сочетать свои мысли и страстные слова с практическими занятиями рисованием. В классах витали идеи красоты и подтверждалось то, что ощущение прекрасного свойственно каждому. Его только нужно умело разбудить и вызвать стремление к нему. Она выводила учеников на природу. Умело и

горячо прививала любовь к ней. Ученики, даже не очень способные, легко усваивали ее метод раскрытия неощутимых тайн перспективы. Классы и коридоры школы расцвели творческим горением детских душ. В школу приходили посетители, как на выставку.

Многие ее ученики впоследствии, продолжив свое образование, стали художниками.

В один из сырых осенних дней Анну Никифоровну вызвала заведующая учебной частью Люцина Дорофеевна Жмых. Она временно исполняла обязанности директора школы. Разговор был коротким. «Вы отвлекаете учеников от основных занятий. Я согласовала с РОНО — вы увольняетесь».

Анну Никифоровну уволили. Наступили тяжелые дни. Макар болел, и эта фраза врачей: — Вот если бы сердце не пошаливало...

Осень, глубокая осень проникла в душу. На улицах машины разбрызгивали бурю смесь снега с дождем. По стеклам витрин стекала грязная жижа. Макару в этот день было совсем плохо. Любимый ученик Женя Бородин сегодня чего-то запаздывал. Доченька Роза кашляет. Поднялась температура, и врач не идет. Роза капризничает, плачет.

В школу тем временем пришел новый директор. Он был сравнительно молод. Удивляло то, что, закончив математический факультет университета, попросил направить его не в научно-исследовательский институт, а в школу.

В первый же день он пригласил к себе Жмых и задал вопрос. Где Анна Никифоровна Солнцева, куда девались рисунки, которые он приходил сюда смотреть, почему в расписании нет уроков рисования?

— Знаете, Дмитрий Константинович, мы ее уволили, она развела тут такую академию художеств, учащиеся перестали учиться. Они...

— Как, Жмых? Как это уволили! Ведь сегодня от учащихся требуют с первых же классов освоения многих новых предметов. Необходима тончайшая игра воображения, развитие восприятия абстракций, извлекаемых из глубин подсознания. Вы понимаете это? Надо развивать восприятие учеников уже с первого класса. Этому очень помогает развитие ощущения прекрасного, эмоциональных факторов, нужна новая педагогика. Как они сумеют понять, что такое пространство Лобачевского, Римана, как освоют дела

компьютерные. Мир познается не только умопостигаемыми категориями, но и чувственными. Вы понимаете это? Надо развивать эти восприятия, фантазию! Необходимо, слышите, вернуть школе талантливейшего человека Анну Никифоровну Солнцеву. Немедленно! У нее есть телефон? Соедините меня. Сейчас же. Завтра возобновим уроки рисования. Поймите же — школа перестраивается. Учить будем по-новому.

Жмых вышла из кабинета директора, позволив себе слегка хлопнуть дверью. «Псих, настоящий псих», — прошептала вслух Жмых, отойдя от директорской двери на безопасное расстояние. И опасливо оглядываясь при этом на плотно закрытую дверь.

— Сережа, — позвала Анна Никифоровна одного из учеников, войдя в класс на урок. — Сережа! Твой «Портрет ученого» поехал на республиканскую выставку.

Класс встал. Раздались аплодисменты. Сережа подошел к Анне Никифоровне и поцеловал ей руку. Она обняла его.

— А твоя, Лена, мистерия «Пространство Мёбиуса» пойдет на симпозиум молодых математиков. Ее опишут математически.

Лену обожала мужская часть класса. Они устроили ей овацию. Впрочем, к этому радостно присоединились и девочки.

Анна Никифоровна улыбалась — прекрасное, если оно служит добру и познанию, — побеждает!

Она шла домой, глядя на осеннее небо. Вдруг оно стало яркосиним, на его фоне светились солнечные облака. В их очертаниях ей почудились силуэты сибиряка Никифора Седых — покорителя тайги и цыгана Степана Лязгина, окутанного пламенем и дымом священного огня.

«Как много хорошего впереди», — думала в этот счастливый миг учительница рисования.

— Что произошло, Анечка, ты так отлично выглядишь, порозовела, в глазах твоих какой-то радостный свет? — спросил ее Макар, когда Анна Никифоровна вошла в дом.

— Да, Макар. Я дышала воздухом перемен. В нем, наверное, есть животворящий эликсир.

Она обо всем рассказала мужу.

Макар задумался и тихо произнес: — Я, кажется, нашел наконец смысл триединой формулы, которую так долго искал. Эврика. Эврика!